Ганс Христиан Андерсен

Философский камень

Ты ведь знаешь сказание о Гольгере-Данске? Мы не собираемся пересказывать его, а просто спрашиваем, помнишь ли ты, что Гольгер-Данске покорил великую Индию до восточного края света, до самого «солнечного дерева», как рассказывает Христиан Педерсен (Имя выдающегося датского ученого (умер в 1554 г.), издавшего «Kong Olger Danskis Kronike», Malmo, 1534. — Примеч. перев.). Ты ведь знаешь, кто был Христиан Педерсен? А и не знаешь — не беда! Гольгер-Данске вручил власть над страною священнику Ионе. Знаешь ты что-нибудь о священнике Ионе? А и не знаешь — тоже не беда! Он не играет в нашем рассказе никакой роли. Мы расскажем тебе о солнечном дереве, растущем «в Индии, на восточном краю света», как толковали во время оно люди: — они не учились географии, как мы с тобою, но и это ведь не беда! Солнечное дерево было чудо что за дерево, какого и мы не видывали, и ты никогда не увидишь. Густолиственная вершина его бросала тень на несколько миль кругом; дерево было, в сущности, настоящим лесом, каждая отдельная маленькая ветвь — целым деревом; тут были и пальмы, и буки, и платаны, и пихты; словом, всевозможные породы деревьев, какие только существуют на белом свете, росли в виде побегов на больших ветвях. Большие же ветви, извилистые и суковатые, являлись настоящими долинами и холмами, устланными мягким, как бархат, зеленым ковром, усыпанным цветами. Каждая ветвь напоминала висящий в воздухе цветущий луг или чудеснейший сад. Солнышко вечно ласкало дерево своими благодатными лучами — недаром же оно звалось солнечным деревом. К нему слетались птицы со всех концов света: из дальних девственных лесов Америки, из розовых садов Дамаска, даже из лесных пустынь Африки, где львы и слоны мнят себя полновластными хозяевами. Прилетали сюда и полярные птицы, и — само собою — аисты с ласточками. Но не одни птицы обитали на дереве: олень, белка, антилопы и другие быстроногие, прекрасные животные тоже чувствовали себя здесь как дома. И немудрено: густая, кудрявая вершина дерева была огромным, благоухающим садом. Посреди же этого сада, там, где раскинулись зеленые склоны самых больших ветвей, возвышался хрустальный замок; из окон его открывался вид на все четыре стороны света.

Каждая башня замка напоминала лилию, по стебельку которой можно было подняться на самый верх — в стебельке была внутренняя лестница, понимаешь? — и ступить на края отогнутых лепестков, изображавших балконы; в самой же чашечке находилась чудеснейшая блестящая зала, но потолком здесь служило голубое небо, озаренное солнцем или усеянное звездами. Хорошо было, хоть и на другой лад, и в нижних залах замка: на стенах отражался весь мир, все, что происходило на земле, — и газет не надо было; кстати, их в замке и не получалось. Все можно было увидеть и узнать из этих живых картин, лишь бы хватило времени да охоты, но невозможное — невозможно даже для первого мудреца в свете, а в замке как раз и жил такой мудрец. Имя его трудно и произнести; тебе ни за что не выговорить, да и не велика беда. Он знал все, что только может знать или узнать человек на земле, был посвящен во все открытия прошлого, настоящего и будущего; но дальше этого его знания не простирались — всему есть границы! Сам мудрый царь Соломон был лишь вполовину так умен, как он, а царь Соломон был очень умен: он повелевал силами природы и могучими духами; сама смерть обязана была каждое утро присылать ему список людей, которых собиралась похитить днем. И все-таки царь Соломон должен был умереть — вот эта-то мысль и не давала покоя мудрецу, могущественному владетелю замка на солнечном дереве. И он, как ни возвышался своею мудростью над всеми людьми, должен был когда-нибудь умереть, и дети его — тоже. Все они должны были увянуть, опасть и превратиться в прах, как древесные листья; он знал это, он видел, как осыпались и превращались в прах поколения людские. На месте опавших листьев вырастали на дереве новые, те же, что опали, никогда не возрождались вновь, а

превращались в прах, переходили в другие растительные части; но что же происходило после смерти с людьми? Что такое сама смерть? Тело превращается в прах, а душа? Чем является душа в теле и чем она становится потом? Что ее ждет? «Жизнь вечная» — утешает нас религия, но как же свершается переход в эту жизнь? Где живет душа и как? «На небе, — говорят благочестивые люди. — И мы пойдем туда же!»
— Туда! — повторял мудрец, глядя вверх на голубое небо, на солнце и на звезды! Туда!
Но, бросив с круглого шара земли испытующий взор в пространство, он нашел, что и верх и низ тут безразличны — все зависит от того, с какой точки земного шара смотреть в пространство! А поднявшись на высочайшие горы, он увидал, что самое воздушное пространство, которое кажется нам с земной плоскости таким голубым, прозрачным, это «ясное небо», как мы его называем, есть, в сущности, сплошной густой мрак, тяжело облегающий землю; увидал, что солнце — огромный раскаленный шар, без лучей, а наша земля — шарик, окутанный оранжевым туманом. Да, телесный взор человека везде встречает границы, и за них не в силах проникнуть даже духовный взор его. Как же ничтожны наши знания, если и мудрейший из людей знал о том, что для нас важнее всего, так мало!
В потайной комнате замка хранилось величайшее земное сокровище — книга Истины. И мудрец читал из нее страницу за страницей. Эту книгу может читать каждый человек, но лишь отрывками: в иных местах буквы так прыгают перед глазами, что нельзя разобрать не единого слова, а в иных они до того бледны, что глаз видит лишь чистую неисписанную страницу. Чем мудрее человек, тем больше он может прочесть из этой книги, и наш мудрец прочел ее почти всю.
Он умел собирать свет звезд, свет солнца, вызывать скрытый свет сокровенных сил природы и свет ума, и благодаря такому яркому освещению становились видимыми даже самые бледные буквы. Но в конце книги, в главе «Жизнь после смерти», и он не мог прочесть ничего, кроме самого заглавия. Это сильно огорчало мудреца. Неужели ему так и не удастся найти здесь, на земле, такого сильного источника света, который осветил бы содержание этих последних страниц книги Истины?
Мудрец, как и царь Соломон, понимал язык животных, умел вслушиваться в речи зверей и пение птиц, но толку от этого было мало. Он умел извлекать из растений и металлов целебные силы, которые могли изгонять болезни, даже отгонять смерть, но победить ее совсем не могли. Во всей природе, во всем, что было ему доступно, искал он света, который бы мог озарить для него будущую жизнь, но не находил, и последние страницы книги Истины оставались для него белыми страницами. Христианское учение, правда, предлагало ему утешение, обещая вечную жизнь за гробом, но про эту-то жизнь ему и хотелось прочесть в своей книге, а там его глаза видели лишь белую страницу.
У мудреца было пятеро детей: четверо сыновей, которым он дал такое воспитание и обучение, какое только может дать своим детям мудрейший из отцов, и дочь-красавица, кроткая, умная, но слепая. Она, впрочем, казалось, и не ощущала этого недостатка: отец и братья заменяли ей глаза, а необыкновенная душевная чуткость — непосредственные зрительные ощущения.
Сыновья никогда не уходили далеко от дома, никогда не переступали черты, за которую уже не падала тень от ветвей солнечного дерева; сестра их и подавно. Хорошо жилось детям в родительском доме, под сенью чудесного, благоухающего солнечного дерева. Как и все дети, они очень любили слушать рассказы, и отец рассказывал им много, чего другие дети и не поняли бы, но эти были так умны, как у нас бывают разве только умудренные долгою жизнью старцы. Отец объяснял им живые картины, отражавшиеся на стенах замка, объяснял ход земных событий и деяния людей, и сыновья часто выражали желание побывать в свете, чтобы самим окунуться в водоворот жизни, но отец говорил им, что в свете живется трудно и горько, что действительность не совсем-то такова, какою они ее себе представляют отсюда, из своего чудесного детского мирка.

Он говорил детям о добре, истине и красоте, говорил, что из них-то, под тяжким давлением света, образуется драгоценный камень, светлее бриллианта самой чистейшей воды; блеск его угоден Богу и затмевает собою решительно все; этот-то камень, собственно, и есть то, что называют камнем мудрецов. Затем он сказал им, что, как можно дойти до уверенности в существовании Творца, изучая сотворенное, так можно дойти и до уверенности в существовании упомянутого камня, изучая людей. Большего о камне он рассказать им не мог — большего он и сам не знал. Другим детям трудно было бы понять все это, но дети мудреца поняли, а впоследствии поймут, может быть, и другие.

Выслушав отца, они начали расспрашивать его об истине, добре и красоте подробнее, и он рассказал им все, что знал сам. Между прочим, он сказал им, что Бог, создав человека из земли, подарил ему пять огненных сердечных поцелуев, и с каждым поцелуем человек получал одно из своих пяти чувств, как мы их называем. Ими-то мы и познаем красоту, истину и добро, ими истина, добро и красота оцениваются, защищаются и поощряются; каждое из этих пяти чувств подразделяется на внешнее и внутреннее, духовное; одно из них — корень, другое — верхушка, одно — тело, другое — душа.

Дети много думали о словах отца; камень мудрецов не выходил у них из головы ни днем ни ночью. Наконец, старшему приснился чудный сон, но — вот диво! — то же самое приснилось и второму, и третьему, и четвертому! Каждому брату снилось, что он отправляется странствовать по белу свету и находит камень мудрецов, который горит у него во лбу ярким пламенем в то время, как он мчится по бархатным лугам и отцовскому саду на своем быстром, как ветер, коне обратно в отчий дом. И драгоценный камень отбросил на страницы книги Истины такой небесный свет, что стали видны и письмена в главе «Жизнь после смерти». Сестре же не снилось ничего такого; ей и в голову не приходило пуститься странствовать по свету — весь свет заключался для нее в отцовском доме.

— Я отправлюсь в путь! — сказал старший. — Пора мне узнать, что творится на белом свете, и самому окунуться в море житейское. Я стремлюсь только к добру и истине, а благодаря им я обрету и красоту! Многое изменится в мире, когда я возьмусь за дело!

Да, замыслы-то у него были отважные и великие, как и у всех нас, пока мы сидим у себя в углу, за печкой, не испытав еще ни дождя, ни непогоды, не изранив себе ног терниями, растущими на пути жизни!

У каждого брата все пять чувств — и внешние, и внутренние — были развиты превосходно, но одно все-таки играло преобладающую роль.

У старшего брата таким чувством являлось зрение. Оно-то и должно было сослужить ему главную службу. Он, по его словам, проникал взором во все времена, во все деяния людские, даже в недра земли, где скрываются сокровища, и в сердца людей, словно люди были из прозрачного стекла! Иначе говоря, он видел побольше, чем можем видеть мы, глядя на вспыхивающее румянцем или бледнеющее лицо и всматриваясь в смеющиеся или плачущие глаза. Олень и антилопа проводили старшего брата до западной границы, а там он увидал диких лебедей, летевших к северо-западу, и последовал за ними. Скоро он очутился далеко-далеко от родины, от «восточного края света».

Вот глаза-то у него разбежались! Было-таки на что посмотреть тут! А видеть что-нибудь в действительности совсем иное, нежели на картинках, хоть бы и на хороших, — те, что были у него дома, в отцовском замке, были необыкновенно хороши. В первую минуту он чуть не ослеп от удивления при виде всего того хлама, что выдавался людьми за прекрасное; но, видно, глаза ему еще могли пригодиться, — конечно, не для того же они были ему даны! — и он не ослеп.

Придя в себя, он решил основательно и добросовестно приступить к изучению истины, добра и красоты; но что же, собственно, было истиною, добром и красотой? Он увидал, что люди зачастую

венчают цветами вместо красоты уродство, истинного добра не замечают, награждают посредственность рукоплесканиями, а не свистками, смотрят на имя, а не на достоинство, на платье, а не на самого человека, на должность, а не на призвание. Да и чего от них требовать?
«Да, надо мне хорошенько взяться за дело!» — подумал он и взялся.
Но пока он доискивался истины, явился дьявол, отец лжи и сам ложь. Он бы с удовольствием выцарапал провидцу оба глаза, но это был бы уж слишком резкий прием: дьявол обыкновенно приступает к делу более тонко. Он оставил провидца отыскивать истину да разглядывать добро, но, пока тот разглядывал, вдунул ему сучок сперва в один глаз, а затем и в другой, ну а это не послужит в пользу никакому зрению, даже самому острому! Потом дьявол принялся раздувать сучки в бревна, и тогда — прощай зрение! Провидец очутился на торжище жизни слепым и не хотел довериться никому. Теперь он стал иного мнения о свете, отчаялся во всем и во всех, даже в самом себе, а раз человек дошел до такого отчаяния — он пропал.
— Пропал! — запели дикие лебеди, улетая на восток.
— Пропал! — защебетали ласточки, тоже направлявшиеся к востоку, к солнечному дереву.
Недобрые вести дошли до дому.
— Провидцу, как видно, не повезло! — сказал второй брат. — Авось мне, с моим чутким слухом, посчастливится больше!
У него из всех чувств особенно изощрен был слух: он слышал, как растет трава, — вот до чего дошел!
Сердечно распрощавшись с семьей, отправился применить к делу свои богатые дарования, осуществить свои добрые намерения и второй брат. Ласточки провожали его далеко-далеко, а лебеди указывали путь. Наконец он очутился среди людской толпы.
Вот уж правда говорится, что «хорошенького — понемножку». Слух у него был ведь до того богат, что он слышал, как растет трава, различал биение человеческого сердца в минуты радости от биения его в минуты горя, слышал вообще каждое биение всех сердец, так что свет представился ему огромною мастерскою часовщика, где тикают и бьют часы всех сортов, и маленькие, и большие. Сил не было вынести эту стукотню! А он все-таки слушал в оба уха, пока мог, но, наконец, совсем обезумел от людского шума и гама. Еще бы! Чего стоили одни уличные шестидесятилетние мальчишки — годы тут ведь ни при чем, — горланившие во всю мочь! Ну, да это-то еще было только смешно, но потом на смену простому крику и гаму являлась сплетня и, шипя, ползла по всем домам, улицам, переулкам и дальше по большой дороге. Наконец, громогласно раздавалась ложь и верховодила всем, а шутовские бубенчики звенели, как будто были церковными колоколами. Нет, это было уж слишком! Он заткнул себе уши пальцами, но все продолжал слышать фальшивое пение и злые речи. Языки людские не знали удержу, мололи всякий вздор; болтали без умолку о выеденном яйце, так что добрые отношения между людьми трещали по всем швам. Шум и гам, трескотня и стукотня, и внутри и снаружи — ужас! Ничьих сил не хватило бы вынести все это! Просто с ума можно было сойти. И второй брат запускал пальцы в уши все глубже и глубже, пока наконец не прорвал барабанной перепонки. Теперь уж он стал глух ко всему, даже к добру, истине и красоте. Он присмирел, стал подозрительным, не доверял никому, под конец — даже себе самому, а это большое несчастье. Не ему было отыскать и принести домой драгоценный камень! Он и махнул на свою задачу рукой, махнул рукой на всех и все, даже на самого себя, а уж хуже этого нет ничего. Птицы, летевшие на восток, принесли о том весть на родину его, в замок солнечного дерева, но письма от него никакого не пришло, да и почта-то в те времена еще не ходила.
— Теперь я попытаю счастья! — сказал третий брат! — У меня есть нюх!
Не особенно-то изящно он выражался, но таков уж он был, таким надо его и принимать. Он

отличался веселым нравом и был поэтом, настоящим поэтом. Он мог спеть все, чего не мог высказать. О многом он догадывался куда раньше, чем другие.
— Уж такой у меня нюх! — говорил он, и правда, обоняние было у него развито в высшей степени; это чувство играло, по его мнению, весьма важную роль в царстве прекрасного. «Одному приятен аромат яблони, другому аромат конюшни! — говорил он. — Каждая область ароматов в царстве прекрасного имеет свою публику. Одни люди чувствуют себя как дома в кабачке, дыша воздухом, пропитанным копотью и чадом сальных свеч, запахом сивухи и табачным дымом, другие предпочитают одуряющий аромат жасмина или услащают себя крепким гвоздичным маслом, а это хоть кого прошибет! Третьи, наконец, ищут свежего морского ветерка, свежего воздуха, взбираются на вершины гор и смотрят оттуда вниз на мелочную людскую сутолоку!»
Да, вот как рассуждал он. Казалось, он имел уже случай пожить в свете между людьми и узнать их, а на самом-то деле эти познания были результатом его внутренней мудрости — он был поэтом. Господь одарил его поэтическим чутьем при самом рождении.
И вот он простился с родными и, выйдя за черту отцовских владений, сел на быстроногого страуса, который мчится куда быстрее коня, а потом, увидав стаю диких лебедей, пересел на спину к самому сильному — он любил перемену. Перелетев море, он очутился в чужой стране, где расстилались огромные леса, сверкали глубокие озера, возвышались высокие горы и роскошные города. И куда он ни являлся, всюду словно восходило солнышко, каждый кустик, каждый цветочек начинали благоухать сильнее, почуяв приближение друга, защитника, который оценит и поймет аромат их. Даже зачахший, всеми забытый розовый куст расправил ветви, развернул листики, и на нем распустилась чудеснейшая роза. Всякому она бросалась в глаза, даже черная скользкая лесная улитка и та заметила ее красоту.
— Я хочу отметить этот цветок! — сказала улитка. — Ну вот, теперь я плюнула на него — большего я уж не могу сделать.
— Вот что бывает на этом свете с прекрасным! — сказал поэт, сложил о том песню и пропел ее, как умел, но никто даже и не прислушался.
Тогда он дал барабанщику два скиллинга и павлинье перо и велел ему переложить песню для барабана да пробарабанить ее по всему городу, по всем улицам и переулкам. Тогда люди услышали песню и объявили, что поняли ее, — в ней дескать замечательно глубокий смысл! Теперь поэт мог продолжать слагать и петь свои песни. Он пел об истине, добре и красоте, и его слушали и в кабачках, где чадили сальные свечи, и на свежем воздухе в поле, в лесу, и в открытом море.
Казалось, что этому брату повезло больше, чем первым двум, но дьявол этого не потерпел, живо явился и начал воскурять перед ним фимиам самый крепкий и благовонный, какой только может изготовлять из всех существующих на свете сам дьявол. А уж он мастер добывать такой удушливый фимиам, от которого закружится голова у любого ангела, не то что у бедного поэта. Дьявол знает, чем пронять человека! Поэта он пронял фимиамом — бедняк совсем утонул в волнах его, забыл свою миссию и родину — все, даже себя самого, все поглотил дым фимиама!
Все птички, услышав о том, затосковали и умолкли на целых три дня, а черная лесная улитка почернела пуще прежнего — не от горя, а от зависти.
— Ведь это мне, — сказала она, — следовало бы воскурять фимиам, я ведь дала ему идею первой знаменитой песни, которую переложили на барабан! Я плюнула на розу и могу даже представить свидетелей!
А домой, на родину, не дошло даже и весточки о судьбе поэта: птички горевали и не раскрывали рта целых три дня, и скорбь их оказалась такой сильной, что к концу трехдневного срока ее они даже забыли, о чем горевали! Вот как!
— Ну, теперь пора и мне отправиться в путь! — сказал четвертый брат.

Он тоже был веселого нрава, как и предыдущий, притом он не был поэтом, значит, ничто и не мешало ему сохранять свой веселый нрав. Оба эти брата были душой и весельем всей семьи; теперь из нее уходило и последнее веселье! Зрение и слух вообще считаются у людей главными чувствами; на их развитие обращается особенное внимание, три же остальных чувства считаются менее существенными. Не так думал младший брат; у него особенно развит был вкус — в самом широком смысле этого слова. А вкус и в самом деле играет большую роль: он руководит выбором всего, что поглощается и ртом, и умом. И младший брат не только перепробовал все, что вообще подается на сковородах, в горшках, в бутылках и других сосудах, — это была грубая, физическая, сторона дела, говорил он, — но и на каждого человека смотрел как на горшок, в котором что-нибудь варится, на каждую страну — как на огромную кухню, и это являлось уже тонкою, духовною, стороной его миссии. На эту-то сторону он теперь и собирался приналечь.

— Может быть, мне и посчастливится больше братьев! — сказал он. — Итак, я отправлюсь в путь, но какой же способ передвижения избрать мне? Что, воздушные шары изобретены? — спросил он отца: тот ведь знал о всех изобретениях и открытиях прошедшего, настоящего и будущего.

Оказалось, что воздушные шары еще не были изобретены, так же, как пароходы и паровозы.

— Ну, так я отправлюсь на воздушном шаре! — решил он. — Отец-то ведь знает, как они снаряжаются и управляются, и научит меня! Людям эти шары еще неизвестны и, увидя мои, они примут его за воздушное явление! Я же, воспользовавшись им, сожгу его — отец должен снабдить меня несколькими штучками грядущего изобретения, так называемыми химическими спичками.

Все это он получил и полетел. Птицы провожали его дальше, нежели старших братьев: им любопытно было поглядеть, что выйдет из его полета. К этим птицам приставали по пути все новые и новые: птицы очень любопытны, а шар показался им новою диковинною птицей. И у младшего брата составилась такая птичья свита, что хоть убавляй! Птичья стая неслась черною тучей, точно египетская саранча; даже света дневного из-за нее не было видно. Наконец шар залетел далеко-далеко.

— У меня хороший друг и помощник — восточный ветер! — сказал младший брат.

— То есть два — восточный и западный! — сказали оба ветра. — Мы попеременно направляли твой шар, а то как бы ты попал на северо-запад!

Но он и не слыхал, что они ему говорили, да и не все ли равно! Птицы больше не сопровождали его: когда их собралось уж очень много, две-три из них соскучились лететь.

— Нет, эту вещь слишком раздули! — объявили они. — И он, пожалуй, еще Бог весть что вообразит о себе! Да и незачем лететь за ним! Все это пустое! Просто неловко даже!

И они отстали; за ними и все другие. Все нашли, что это — пустое.

А шар спустился в одном из самых больших городов, и воздухоплаватель очутился на высочайшей точке — на башенном шпице. Шар опять поднялся в воздух, хоть этого и не следовало; куда он улетел — сказать трудно, да и не все ли равно, раз он не был еще изобретен?

Итак, младший брат восседал на башенном шпице, но птицы уже не слетались к нему: и он им надоел, и они ему. Все дымовые трубы в городе дымили и благоухали.

— Это все алтари, воздвигнутые тебе! — сказал ветер: он хотел сказать гостю что-нибудь приятное.

А тот сидел себе преважно и посматривал вниз на улицы и прохожих. Один шел и чванился своим кошельком; другой — ключами на задних фалдах, хоть ему и нечего было отпирать ими; третий — своим кафтаном, а его уж ела моль; четвертый — своим телом, а его уж точил червяк!..

— Суета сует! Да, пора мне сойти вниз, помешать в котле жизни да отведать, каково на вкус его содержимое! — сказал он. — Но я еще посижу тут немножко: ветер так чудесно щекочет мне спину; очень приятно! Я посижу здесь, пока ветер дует с той стороны. Надо же мне отдохнуть

немножко. Хорошо подольше понежиться утром в постели, когда предстоит трудный день, говорят ленивцы, а леность — мать пороков, но ведь наша семья не заражена никакими пороками, говорю я, и то же скажет о своей семье любой прохожий! Я посижу тут, только пока ветер дует с той стороны: он мне по вкусу!
И он остался сидеть, но сидел-то он на флюгере шпица, и тот все вертелся с ним, а он думал, что дует все тот же ветер; он продолжал сидеть и мог сидеть так без конца!
А в Индийской стране, в замке на солнечном дереве, стало так пусто и тихо, когда братья разошлись один за другим.
— Им не повезло! — говорил отец. — Никогда не принесут они домой сверкающего драгоценного камня, никогда я не обрету его! Они ушли, погибли!..
И он склонялся над книгой Истины, впиваясь взглядом в страницу, на которой хотел прочесть о жизни после смерти, но по-прежнему ничего не видел на ней.
Слепая дочь была его утешением и отрадой; она так искренне была к нему привязана, так любила его и, ради его счастья, горячо желала, чтобы драгоценный камень был найден и принесен домой. Но о братьях она очень горевала: где они и что с ними? Как ей хотелось увидать их хоть во сне, но, удивительно, даже во сне она не могла с ними свидеться! Но однажды ночью ей приснилось, что она слышит их голоса; они зовут ее, они кричат ей из пучины житейского моря, и она пускается в путь, уходит далеко-далеко и в то же время все-таки как будто не выходит из отцовского дома. Братьев она так и не встречает, но в руке чувствует какое-то пламя, которое, однако, не жжет ее... В руке у нее сверкающий драгоценный камень, и она приносит его отцу! В первую минуту по пробуждении ей показалось, что она все еще держит камень в руке, но оказалось, что рука ее крепко сжимала прялку. В долгие бессонные ночи она беспрерывно пряла, и на веретене была намотана нить тоньше той, что прядет паук; человеческим глазом нельзя было и разглядеть ее. Но девушка смачивала нить своими слезами, и нить становилась крепче якорного каната.
Слепая встала; она решилась — сон должен был сбыться. Была ночь, отец ее спал, она поцеловала его руку, прикрепила конец нити к отцовскому дому: иначе как бы она, бедная слепая, нашла дорогу домой? За эту нить она должна была крепко держаться — ей она доверялась, а не самой себе, не другим людям. Потом она сорвала с солнечного дерева четыре листочка: она хотела, в случае если сама не встретит братьев, пустить эти листья по ветру, чтобы тот отнес по одному каждому брату вместо письма, поклона от нее.
Что-то будет с бедняжкой слепой, как станет она пробираться по белу свету? Но она ведь держалась за невидимую путеводную нить и, кроме того, над всеми пятью чувствами преобладала у нее внутренняя душевная чуткость, благодаря чему она как бы видела кончиками пальцев, слышала сердцем.
И вот она отправилась бродить по белу свету. Море житейское шумело и гудело вокруг нее, но где только ни проходила она — всюду на небе сияло солнышко, ласкавшее ее своими теплыми лучами, всюду из черных облаков исходила сияющая радуга, всюду девушка слышала пение птичек, вдыхала аромат апельсиновых и яблоневых садов; аромат был так силен, что ей казалось даже, будто она вкушает сами плоды. До слуха ее доносились нежные ласкающие звуки, дивное пение, но доносились также завыванье и дикие крики; мысли и чувства людские вступали между собою в борьбу, и в глубине ее сердца сталкивались отзвуки двух мелодий: задушевной сердечной мелодии и мелодии рассудка. Один людской хор пел:
Земная жизнь — борьба и слезы,
Сплошная тьма, просвета нет!

Другой:

Нет, люди рвут и счастья розы,
Их взор ласкает солнца свет!

Опять доносилась горькая жалоба:
Мир жив лишь злом, враждой, гоненьем,
Брат губит брата, сын — отца!

В ответ звучало:
Любовью, благостью, прощеньем
Людей исполнены сердца!

Потом слышалось:
Мир тонет в мраке лжи, притворства,
Вся жизнь лишь суета сует!

Но вот раздавалось:
Но с тьмой и ложью в ратоборство
Вступают Истина и Свет!

Тут хор дико грянул:
Махни рукой на все и смейся,
Людей и мир весь презирай!

Но в сердце слепой девушки звучало:
На Бога и себя надейся,
Ему судьбу свою вверяй!

И стоило девушке появиться в кругу мужчин и женщин, старых и молодых, души всех загорались светом истины, добра и красоты; повсюду, где она ни появлялась — в мастерской ли художника, в богатом ли, празднично убранном покое, на фабрике ли среди жужжащих машин, — всюду словно восходило солнышко, звучали невидимые струны, ниспадала на изнывающие от жажды листья живительная роса.

Но дьявол не мог с этим примириться, а он ведь умнее целых десятков тысяч умных людей вместе взятых и додумался-таки, чем помочь горю. Он отправился в болото, взял пузырей гнилой воды, велел прозвучать над ними семикратному эху лжи, чтобы они окрепли, потом истолок в порошок всевозможные оплаченные похвальные оды и лживые надгробные речи, какие только мог достать, сварил порошок вместе с пузырями в слезах, пролитых завистью, посыпал полученную смесь румянцем, соскобленным с увядшей щеки старой девы, и создал из всего этого девушку по образу и подобию богатой благодатью слепой. Люди стали звать создание дьявола Кротким ангелом душевной чуткости, и все пошло теперь как по маслу: дьявол одолел — свет не знал, которая из двух была настоящею, да и где ему было знать это!

«На Бога и себя надейся,
Ему судьбу свою вверяй!» —

раздавалось между тем в сердце слепой, но просветленной твердою верой девушки. Четыре зеленых листка солнечного дерева она отдала ветру, чтобы тот отнес их, вместо письма, поклона, ее братьям, и твердо верила, что ветер доставит листья по назначению. Так же твердо верила она и в то, что драгоценный камень, затмевающий блеском все земное великолепие, будет ею найден. С

чела человечества должен он сиять дивным блеском, озаряя и дом ее отца.
— Дом моего отца! — повторила она. — Да, на земле обретается этот камень, и я принесу домой не одну уверенность в его существовании; я уже ощущаю его пламя; оно пышет все сильнее и сильнее в моей зажатой руке! Я подхватывала каждое крошечное зерно истины, носившейся по ветру, и крепко берегла его; я давала ему пропитаться ароматом всего прекрасного, чего немало на земле — даже для слепой. Я ловила каждое биение человеческого сердца во имя добра и вкладывала их в зернышки истины. Я несу домой одни песчинки, но все они в совокупности и составят драгоценный камень, который я искала: у меня их полная горсть!
И она протянула руку отцу — она была уже дома; с быстротою мысли очутилась она там, ведь она не выпускала из рук невидимой путеводной нити, связывавшей ее с отцовским домом.
Злые духи налетели на солнечное дерево с грохотом урагана, с шумом и свистом ворвались в открытые ворота и в потайную комнату.
— Вихрь развеет песчинки! — вскричал отец, хватая ее разжатую руку.
— Нет! — с твердою уверенностью возразила она. — Их нельзя развеять. Я чувствую, как от них струится луч света, согревающий мою душу!
И отец увидел, что сверкающие песчинки бросали яркий луч на белую страницу книги Истины — на ту страницу, где он искал доказательств жизни вечной. Он взглянул на страницу — на ней ослепительным блеском сияли четыре буквы, составлявшие одно-единственное слово: «Вера».
В ту же минуту рядом с отцом очутились и четверо его сыновей. Зеленый листок, брошенный ветром на грудь каждому, пробудил в них тоску по родине, и они вернулись вместе с перелетными птицами, оленями, антилопами и другими лесными обитателями. Животные тоже хотели принять участие в радости, и почему же нет, раз они способны были радоваться?
И вот как солнечный луч, пробравшийся в пыльную комнату через узенькую щелочку в двери, образует косой столб сияющей пыли, так и тут, но куда легче, воздушней и ярче — сама радуга померкла бы перед этим зрелищем — подымался от сияющего слова «Вера» светозарный столб песчинок истины. Каждая песчинка соединяла в себе свет истины, блеск красоты и сияние добра, отчего столб и светился ярче огненного столба-путеводителя Моисея и народа израильского в пустыне, — это был мост Надежды, перекидывавшийся от Веры к всеобъемлющей, бесконечной Любви.